

Как дядя Пахом стал собирать на Божий дом

Когда спадет зной в жаркий летний день, и наступит легкая прохлада, как приятно бывает выйти из своей дачи, из душных комнаток на воздух и подышать свежестью, прогуляться по своему садику или ближайшей роще. Моя дача стоит в хорошем сосновом лесу, через который пролегает шоссейная большая дорога. Люблю я выйти на эту дорогу, сесть где-нибудь под тенью густой сосны и смотреть на проезжих и особенно на проходящих богомольцев, которые длинную вереницею тянутся от одного монастыря к другому, ища духовной пищи и духовного питания своей алчущей и жаждущей душе. Днем, в жару, мало кто бредет, так как тяжело и трудно идти, а вечерком и ночью по прохладе они со своими котомками и крючковатыми палочками, словно муравьи, мирно и тихо ползут вперед то врозь, в одиночку, то небольшою толпою, причем воодушевляют себя умильным пением духовных песен, заученных ими в своих храмах с голоса приходского псаломщика.

Вот однажды, по своему обыкновению, отправился я бродить по роще, захватив с собою и небольшую корзиночку на случай, если попадутся хорошие грибы, так как много бывает их в нашей роще. Долго бродил я и захотел, наконец, присесть отдохнуть, тем более, что я вышел на тропинку около шоссейной дороги. Выбрав потенистее деревцо, расположился я на зеленой травке, густо покрывавшей согревшуюся от солнечных лучей землю, и стал осматриваться кругом, чтобы лучше разглядеть понравившееся мне местечко. Путники шли уже, хотя еще и не в столь большом количестве; я прислонился к дереву, оперся на локоть и задумался. Не помню, сколько времени прошло среди такого моего раздумья; только быть может я и еще бы продумал, если бы меня не вывел из сосредоточенного настроения какой-то шорох, послышавшийся недалеко от меня.

Я обернулся в ту сторону, откуда раздался шорох, и заметил почтенного старичка, сидевшего около самой дорожной канавы. Он снял уже свою котомку, развязал ее и доставал из нее простой черный хлеб. Я не заметил, как подошел он, как сел, но только шорох при развязывании плохой клеенчатой сумки заставил меня обратить на него мое внимание. Мне ясно было видно его смуглое, загорелое от солнца приятное лицо, обрамленное окладистою, весьма уже поседелою бородою, которою он так походил на типичного представителя русского народа; черты лица были довольно правильные и надо лбом виднелась большая лысина;

по лицу шло несколько глубоких морщин, которые свидетельствовали, что он много испытал кручины на веку своем. Выражение лица его было серьезное и сосредоточенное, как будто он решал какой-нибудь трудный и замысловатый вопрос. Пока я его так издали рассматривал, он достал преспокойно кусок черного хлеба и бутылку с водой и, положив на себе широко три раза крестное знамение с какой-то молитвой, так как видно было, что он шевелил своими губами, принялся за свой более чем скромный и простой обед. Не знаю, но что-то притягательное было в этом старичке, что заставило меня внимательно следить за его благоговеино совершаемой трапезой; что-то манило меня к нему, побуждало подняться, подойти к нему и завязать с ним разговор, как это я люблю иногда делать. Но я еще медлил, мне хотелось сперва попристальнее всмотреться в его широко открытое лицо, хотелось дать ему возможность без помехи окончить свою еду. Я думал: вот станет он убирать оставшиеся крохи к себе в сумку, я и подойду к нему и заговорю с ним; ведь наверно он не сразу отправится в путь, а посидит еще немного, отдохнет, как обыкновенно делают все странники и богомольцы, которые привыкли ходить и знают прекрасно, когда надо им сделать привал и на сколько времени. Долго не пришлось мне дожидаться; пока я размышлял в себе, мой старичок успел уже окончить свой обед, снова перекрестился широко три раза, шепча опять какую-то молитву, а затем медленно стал завертывать оставшийся хлеб и тщательно подбирать упавшие крохи. Тогда я поднялся и направился прямо к старику.

Он откинул несколько кверху голову, чтобы взглянуть на меня и опять принялся за свою работу. Подойдя к нему, я увидел, что около него лежала шляпа, похожая на цилиндр, только сделанный из шерсти, какой обыкновенно любили носить старые люди в деревне. Мне этот головной убор как-то очень нравился, какой-то особенный, величавый вид придавал он всей наружности и осанке нашего крестьянина. В настоящее время, к сожалению, в деревне стали забывать о таком наряде и стали носить картузы и даже барашковые шапки. Если можно в какой семье еще встретить валенный цилиндр, то уже как вещь, которую хранят в воспоминание о носившем ее прадеде или деду. Кроме этого цилиндра рядом со стариком лежала небольшая кожаная четырехугольная сумка, именно такая, какую носят сборщики на храм, и в два пальца толщины палка, на которой винтообразно сверху до низу была вырезана кора. На самом путешественнике была надета ватная плохая поддевка, которую он, видимо, не снимал даже и в самую жаркую погоду. Ноги были обуты в лапти, довольно уже поизносившиеся и обернуты серым грубым холстом, перевязанным тщательно и аккуратно веревкой.

Вот все, что успел я заметить, подходя к старичку. Он уже завязал свою сумку,

достал ситцевый разноцветный платок и им вытирал выступившие на лбу и лице капли пота.

„Здравствуй старинушка“, — начал я с ним свой разговор.

„Здравствуйте, господин добрый“, — ответил мне старичек, приветливо наклоняя свою поседевшую голову. Голос его был не громкий, а тихий, смиренный.

„Откуда Бог несет, и в какие края пробираешься?“

„По всей земле нас Бог носит и нет края, в который бы не пришлось заглянуть нам; а в некоторых, може, уж не один раз бывал, а боле, пожалуй, Бог и не приведет попасть, пора ведь и в могилу, лет двадцать с лишком топчу землю Божию, людям глаза мозолю, а пользы нет от меня никому никакой; да и ходить становится не вмоготу, кони-то мои уездились, отказываются меня возить, пробегут несколько верст да требуют кормежки; и так в день теперь иду лишь верст пятнадцать“.

„Как твое имя, старинушка?“

„Крестили меня Пахомом, а по отцу Власьев“.

„Что же, далеко ты теперь от родины своей бредешь и куда путь держишь?“

„Да родину земную давно уже я забыл, а к небесной все дороги не найду. Чем больше ищешь, чем дальше идешь, тем виднее становится, что словно в лесу заблудился; грехи-то вон что деревья здоровые да толстые, к примеру, хоть бы в этом вот лесу. Промеж их все и трешься, а к опушке-то светлой никак не выберешься, только так и придется где-нибудь в этом грешном лесе попасть, как зверю, в волчью яму, али там капкан какой; и там охотник злой, лукавый враг наш припожалует вынимать свою добычу, вот и живи с ним целый век. Ох! Горе мне окаянному! А если допустит Угодник Божий, пойду поклонюсь его святым мощам, попрошу его указать мне дорогу, чтобы выбраться из дремучего леса. А там что Бог даст, може и кости свои сложу у Преподобного, а може еще и поброжу, как Господь смилуется. Далеко загадывать не след нашему брату-человеку. Вон она жизнь какая стала: ноне жив, пьет чай, али, к слову, обедает, покатилося вдруг с лавки и Богу душу отдал, так даже без напутствия. А хуже этой самой, кажись, и смерти нет“.

„Да, правда твоя, что ныне как-то особенно много стало умирать внезапною смертию. Был здоровый, веселый человек, и вдруг читаешь на другой день в газетах: преставился волею Божию. Неизвестно, когда припожалует к нам неожиданная гостья-смерть“.

„Потому-то Господь наш Иисус Христос и учит нас, чтобы мы готовы были на всяк час, ибо никто не весть, в кой час посетит нас Господь. Будьте, говорить, готовы. А и великая эта милость Божия, что мы видим теперь, как люди вдруг помирают. Ведь это все Бог-то не так просто, без толку, а по Промыслу Своему Премудрому творит. Смотрите, говорит, на смерть ваших знакомых и соседей и живите лучше, слушайтесь своих отцов духовных, чтоб не во грехах застала вас нежданная гостья, а в доброй жизни, чтобы ангелы небесные прямо приняли душу-то в райское блаженство. Смотрите, как страшно помирать без покаяния, а по-нонешнему, того и гляди, что так помрешь. Я вот и то постоянно благодарю Бога, что не дал мне грешнику смерти, а призвал к покаянию, вот еще и до сих пор терпит моему окаянству, дожидаясь, когда это я заглажу свой прежний грех. А тому уж с лишком двадцать лет будет”.

„Ты что, дедушка, просто богомолец что ли, или собираешь на храм?”

„Плохой я сборщик стал. Где уж собирать тут, когда ноги ни стоят, ни ходят. Зимой живешь еще где-либо по городам, собираешь, что дадут на построение храма Божия, а летом, когда станет потеплее, хожу по угодникам да монастырям, замаливаю грехи свои, а по пути собираю, что жертвуют добрые люди”.

„Ты вот говоришь, что лет двадцать ходишь, а до того времени, стало быть, ты не был сборщиком и жил на одном месте? Что же побудило тебя оставить свою хату и уйти от теплой избы и сытного обеда в странствие по белу свету?”

„Большая, добрый барин, это история, если начать сказывать тебе. Давно уж это все было, я стал к тому ж и забывать все обстоятельства. Сказать тебе, что я окромя своего духовника никому никогда не рассказывал о своем великом грехе, как это меня бес нечистый попутал?”

Я заметил, что лицо старика подернулось какою-то глубокою грустью, в то же время из глаз выкатились две крупные слезы, которые он смахнул с лица своим ветхим и засаленным рукавом. Но грустное выражение лица не обезобразило его, а напротив, сделало еще более приятным, притягательным. Заинтересовал меня этот старик, хотелось мне во что бы то ни стало разузнать, что это за грех такой с ним случился, и потому я обратился к нему с ласковой просьбой:

„Если, дедушка Пахом, тебе не трудно, то сделай милость, расскажи мне эту твою старую историю, расскажи, как помнишь, я с удовольствием послушаю”.

„Ну что с вами поделаешь?!.. Барин-то вы такой разговорчивый да ласковый, как не уважить. Следует. Уж так и быть, хоть и перезабыл я почти все, а что вспомню, то и расскажу”.

„Вот спасибо тебе, дедушка!"

Немного помолчав, как бы раздумывая с чего лучше начать, а затем откашлянувшись и погладив жилистую рукою широкую бороду свою, дедушка Пахом начал тихо и медленно.

„Теперь это меня все называют «дедушка», а поболее двадцати лет тому назад меня все звали «дядя Пахом». Устарел теперь-то я, а раньше бывало, что тебе косить, что пахать, бывало никто за тобой не угонится: горяч, значит, был и спорлив, работа так и кипела вот в этих самых руках. Была у меня своя хата, хорошая да просторная, а жили в ней я да жена моя еще, Прасковьей звали, царство ей небесное, давно уж скончалась, а баба была трудящая и богомольная, ни одного праздника, бывало, не пропустит, чтобы не сходить в храм Божий и дома строго это наблюдала, чтобы горела лампадочка пред образами. В посты и постные дни, и — Боже мой! — отнюдь не даст ничего непозволительного съесть, а все как там прописано в законе Божиим. Ладно, жили мы с ней, хозяйство шло хорошо, так что даже соседи-то наши много завидовали нашему житью-бытью. Водилась скотинка, и птицу держали у себя. Ну, одним словом, не знали, как уж и Бога благодарить. Да должно плохо это мы благодарили Бога - то за Его великие милости к нам грешным; только вот в одно прекрасное время и пошли на нас напасти да искушения одно за другим. Сперва сам заболел я, когда поправляться стал, вдруг, ни с того ни с сего, пала вся скотина и птица наша подохла. Жалко было нам скотинушку, привыкли, значит, очень мы уж к ней. А тут, как на грех, я снова свалился, сделалась болезнь какая-то, я без памяти долго лежал, а потом поправиться никак не мог. Вот хозяйство-то и не мог я привести в старое довольство. Появились нуждишки, туда треба, сюда треба, ан хватить, а взять не откуда, вот я и взгрустился, даже от пищи отшибло меня как-то, хожу, бывало, словно помешанный, да молчу, ни с кем не разговариваю, а сам все думаю, как бы это горю помочь, да из нужды-то выбраться. Жена начнет иногда мне говорить что-нибудь, а я прикрикну на нее да пригрожу поколотить, чего раньше с роду не случалось, а теперь словно и она мне не мила стала. Тут же наш всегдашний злой враг и рода человеческого ненавистник начал нашептывать мне в уши да вбивать в мою глупую голову: «Чего, мол, кручинишься, словно горю и помочь нечем; вон храм-то стоит недалеко от твоей хаты; есть там и ризы на иконах, и сосуды, и другие вещи, есть и ящик церковный со свечами; староста никогда не выбирает из него деньги; возьми потихоньку сколько надо, после вложишь, ведь это не воровство, а просто займы, обернешься маленько, а там возвратишь, да еще и лишку дашь на украшение храма Божьего». Как колом засела в голову мою эта мысль, и вот я, наконец, решился привести ее в исполнение. Что бы мне это прямо

пойти к батюшке, да и попросить у него займы, ведь нет, не додумался до этого. Ох, Господи, прости меня за мое незаконное дело! Выбрал я это, поудобнее случай, забрался во время службы в соседнем приделе за ящик с облачениями и книгами и стал дожидаться, когда кончится служба и все уйдут. Уж не до службы Божьей было мне, только страх брал, что вот-вот заметят, боялся пошевелинуться, закашлять, зашуметь; а как на грех и кашлянуть смерть хочется и стоять за ящиком неловко... Слышу, наконец, что щелкнул замок в двери, щелкнул и наружный, затихли шаги уходящего с ключами пономаря и стало так тихо, тихо, даже жутко... Сердце мое так и стучит, словно молотом в грудь и отдается в висках... Я просто не в силах был с места тронуться. В сердце моем поднялась борьба: и совесть укоряла, что не за хорошее дело берусь я, что лучше оставить мысль о воровстве, так как могут за это взять да отдать под суд, а там, пожалуй, сошлют еще куда, что и не вернешься домой в родные места, не увидишь никогда близких сердцу, да и помрешь на чужбине, вдали от своих покойников. А с другой стороны, уж очень нужда заела, не знал, как выйти иначе из трудных обстоятельств, думалось, что я не украду, а только ведь займы возьму и после отдам вдвое, когда разбогатею, а батьке скажу на духу по совести, а пока только бы обернуться маленько, стыдно как-то перед другими. Ведь уж пришел же, зачем же дело стало? Нечего терять времени... И я решился выйти из-за ящика.

Только жутко уж больно было; я перекрестился, чтоб не бояться и вышел. А сам еле жив, ноги трясутся, не могу стоять, руки словно плети повисли, в глазах помутилось, а в голове так и стучит, стучит, словно молотом. Сделал это я несколько шагов, озираясь кругом, так как мне все казалось, что за плечами моими кто-то стоит и зорко, зорко смотрит на меня, примечает все, что я делаю; и представилось мне, что в одном месте мелькнул огонек, я еще больше испугался, опять перекрестился и только шагнул, как показалось мне, что великий Угодник Божий Святитель Николай задвигался на своей иконе, а икона была старинная, хорошо писанная, и по округе ее все почитали и брали непременно в крестные хода, пальчики его — батюшки — разогнулись, и он одним погрозился на меня, а сам так строго, строго глядит, точно молвить что хочет мне, великому грешнику, а, может, и молвил что, да я-то со страху или не расслышал, или запомнил. Как я еще жив только остался!

Тут же батюшке Николаю Чудотворцу повалился к иконе и заплакал: «Святителю отче Николае, не погуби меня, знаю я теперь, на какое незаконное дело я решился. Ты спас меня, ты не дал моей скверной руке коснуться того, что мои односельчане принесли в дар Богу от своих праведных трудов, что копилось и собиралось здесь по копеечке; ты удержал меня от великого греха, благодарю

тебя, покровитель и избавитель наш. Я обещаюсь отныне потрудиться для храма Божьего и сколько Господь веку продлит, собирать на построение храма».

Так промолился я со слезами раскаяния не знаю сколько времени, только на мое счастье скоро опять пономарь отпер церковь, так как за батюшкой приехали напутствовать больного, и батюшке надо было взять Св. Дары. Чуть держась на ногах, незамеченным вышел я из храма и с печалью в сердце о своем грехе побрел в убогую хату. Прасковья, жена - то моя, увидев меня, заголосила, думала, что я опять разболелся, а я, остановив ее, рассказал ей, как меня бес попутал, а Николай Угодник спас. Оба мы с ней помолились Богу, а нужды словно наполовину меньше стало, как-то легче сделалось, хотелось теперь лучше с голоду помереть, чем коснуться того, что отдано в дар Богу. Прасковьюшка тогда же присоветовала мне сходить к батюшке и повиниться ему во всем на исповеди и принять епитимью. Так уж видно Господь Сам внушил ей это.

Добрый у нас такой батюшка был да внимательный, всегда это, бывало, выслушает, обласкает, утешит так и хороший совет даст. Здравствует он и поныне, дай ему Бог много лет священствовать! Старенький тоже стал, а все еще трудится, хлопочет для спасения нас, грешных. Рассказал я ему все по совести, как это доподлинно все, значит было. Перекрестился батюшка, вздохнул, да и говорит: «Ох, чадо мое Пахом! Знаешь ли ты, от какой великой беды спас тебя Бог через угодника Своего. Очень нехорошо и грешно брать чужое, воровать, а еще хуже, еще во много раз грешнее, брать Божье, посвященное Богу, это святотатство есть. Вижу я всегда, как ты с женой почитаешь все праздники Господни и посты соблюдаешь, а к иконе Святителя Николая постоянно прикладываешься, свечи пред ней возжигаешь и поклоны кладешь. Вот за это-то доброе и спас тебя Бог по молитвам Святителя. От меня в поучениях вы все много раз слышали, как велик этот Угодник Божий и как все его почитают, не только православные, но даже и магометане и язычники, а в нашем народе русском сложилась даже и поговорка: «Мимо образа Святого Николая не проходи, шапки не снимая». Да простит Господь тебе твой грех и да поможет укрепиться во всем добром и да благословит все дела твои». Разрешил батюшка грех мой и дал мне епитимью. Словно совсем другим я человеком стал. С облегченной душой вернулся домой и бодро принялся за хозяйство. И дивны дела Твоя, Господи! Все в моих руках стало спориться, все пошло по-хорошему, и я живо оправился.

Пора было уж исполнить свое обещание. Хозяйка могла одна без меня прокормиться, уголок теплый у неё был, хлебец тоже, а надел-то мы решили отдавать за деньги. Стал собираться я, хоть и жалко было уходить из родного места. Но ничего не поделаешь. Знаешь ведь: давши слово держись, а не давши

крепись. А тут Господь-то Сам пришел мне на помощь — прибрал на Свои пречистые руки хозяйку мою, царство ей небесное! В жаркую летнюю пору жала она это хлебец, разгорячилась, знать, испила холодного кваску, ее и прихватило, сделалось воспаление живота, и в три дня Богу душу отдала. Успели и напутствовать ее. А умерла она так тихо, спокойно, словно уснула, совсем по-христиански. Упокой, Господи, ее душу!

Похоронил я ее, распродал все хозяйство, избушку свою отдал в дар своей сельской церкви, а сам отслужил молебен пред иконой св. Николая, взял благословение у священника и, попрощавшись с крестьянами, отправился на поклонение Угодникам Божиим. Ходя из конца в конец по матушке России, я поступил в сборщики на один строящийся каменный храм и скажу, во славу Божию, видел уж после него не один храм оконченным и освященным. Вот и теперь помаленьку собираю кто что даст. Очень уж отрадно видеть, когда освящается церковь и начнется в ней приноситься Бескровная Жертва за всех людей, за живых и умерших. Благодать-то Божия все ведь тогда освящает, самый даже воздух освящается, и благословение Господне нисходит на всех".

Дедушка Пахом смолк и погрузился в размышление. Видно было, как все существо его было полно неземной радостью, которая особенно отражалась в его блестящих глазах и зарумянившемся лице. Мне казалось, что ему в этот момент представляются все те храмы, на построение которых он от души потрудился, а в них он видит тысячи горячо молящихся Богу и просящих помощи себе в земной жизни; видит, как молитва эта, простая, искренняя и сердечная, доходит до престола Божия, и как оттуда с неба, от Бога милости и человеколюбия, щедро ниспосылаются обильные дары во славу Господа и во спасение людей. Хотелось еще насладиться тем душевным чувством, которое я испытал за это время. Но надо было идти домой. Я стал подниматься, поблагодарил дедушку Пахома за рассказ, со своей стороны дал ему маленькую лепту и пожелал ему счастливого пути и доброго здоровья. Старичок тоже встал, перекрестился, поклонился мне в пояс в знак благодарности, сказал несколько благожеланий мне, накинул свою сумку на старческие плечи и, опираясь на палку, тихонько побрел от меня по дороге.

1908 г.